

1

1966

Искаатель

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ
ЦК ВЛКСМ

ВОКРУГ  СВЕТА

ФАНТАСТИКА ● ПРИКЛЮЧЕНИЯ



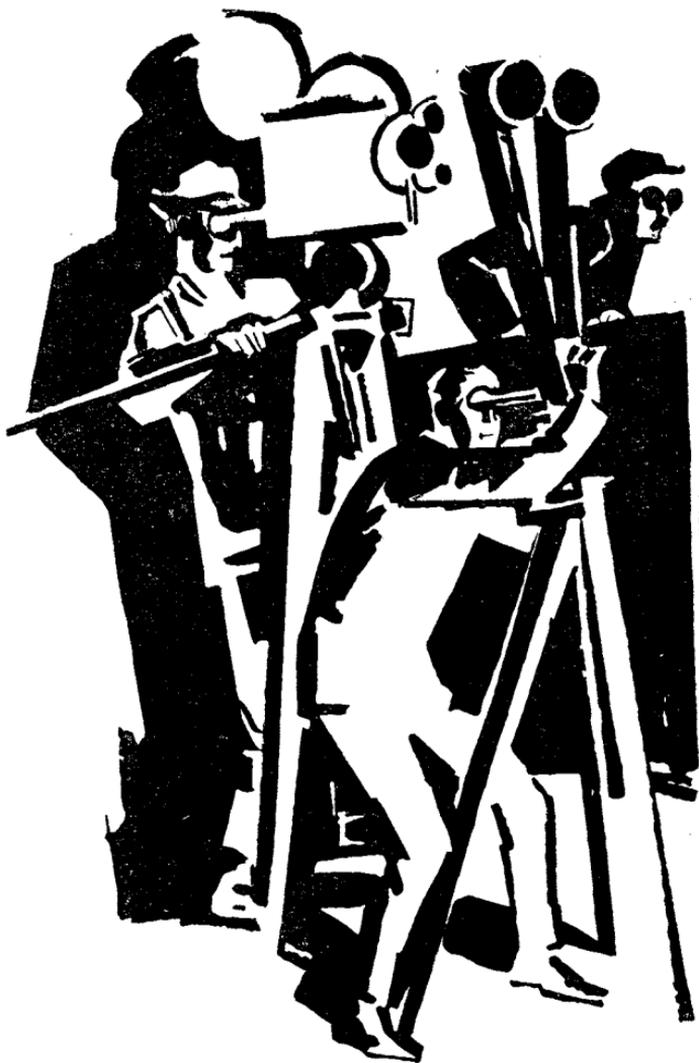


Рисунок Н. ГРИШИНА

Станислав ЛЕМ

Правда

Фантазия

Я сижу в закрытой комнате, сижу и пишу. Дверь комнаты без ручки, окно не открывается. Стекло в окне небьющееся. Я проверял. Не потому, что хотел убежать и не в приступе ярости, просто я хотел убедиться. Пишу я на деревянном ореховом столе. Бумаги у меня достаточно. Писать можно. Впрочем, никто этого не читает. Но я все равно пишу. Мне не хочется быть одному, а читать я не могу. Все, что мне дают для чтения, — неправда. Буквы начинают прыгать перед глазами, и я теряю терпение.

С тех пор как я узнал правду, меня все это не касается. Обо мне очень заботятся. Утром ванна, теплая или комнатной температуры, с тонким ароматом. Я открыл, чем отличаются друг от друга дни недели: во вторник и субботу вода пахнет лавандой, в остальные дни — хвоей. Потом завтрак и посещение врача. Один из молодых врачей (имени его я не помню — у меня все в порядке с памятью, просто теперь я стараюсь не запоминать несущественные вещи) интересовался моей историей. Я ему дважды рассказывал ее целиком, а он записывал на магнитофоне. Вероятно, вторая запись понадобилась ему для того, чтобы сравнить оба рассказа и таким образом установить, что остается в них неизменным. Я сказал ему об этом, так же как и о том, что подробности несущественны.

Я спросил, намерен ли он обработать мою историю в качестве так называемого клинического случая, чтобы обратиться на себя внимание медицинского мира. Он немного смутился. Может быть, это мне только показалось, как бы то ни было, с тех пор он перестал проявлять ко мне интерес.

Однако все это не имеет значения. То, к чему я пришел отчасти случайно, отчасти благодаря другим обстоятельствам, в некотором (тривиальном) смысле также не имеет значения.

Существует два рода фактов. Одни могут быть использованы практически, например, тот факт, что вода кипит при ста градусах и превращается в пар, подчиняющийся закону Бойля — Мариотта и Гей — Люссака; благодаря этому оказалось возможным построить паровую машину. Другие факты не имеют такого значения, ибо они относятся ко всему и от них никуда не денешься. Они не знают ни исключений, ни применений, и в этом смысле ни на что не годны. Иногда они могут иметь неприятные для кого-нибудь следствия.

Я солгал бы, утверждая, что доволен своим нынешним положением и что мне безразлично, какой диагноз записан в моей истории болезни. Но поскольку я знаю, что единственная моя болезнь — мое существование и что в результате этого, всегда однозначно кончающегося заболевания я установил правду, я испытываю чувство мелочного удовлетворения, как каждый, кто прав в споре с большинством. В моем случае спор со всем миром.

Я могу сказать так, потому что Маартенса и Ганимальди нет в живых. Правда, которую мы вместе узнали, убила их. Переведенные на язык большинства, эти слова означали только одно — произошел несчастный случай. Он действительно произошел, но гораздо раньше, несколько миллиардов лет назад, когда обрывки содранного с Солнца огня начали сворачиваться в шар. Это была агония, а все остальное, вместе с этими темными канадскими елями за окном, щебетанием медсестер и моей писаниной — все это только загробная жизнь. Знаете, чья? Действительно не знаете?

А ведь вы любите смотреть на огонь. Если не любите, то от рассудочности или упрямства. А вы попробуйте сесть у огня и отвернуться от него, и сразу же убедитесь, как он

притягивает. Всему, что происходит в пламени (а происходит там очень многое), мы не сумели бы даже найти названия. У нас есть для этого полтора десятка ничего не говорящих определений. Я тоже не имел об этом понятия, как и каждый из вас. И, несмотря на мое открытие, я не стал огнепоклонником, подобно тому, как материалисты не становятся, во всяком случае, не должны становиться, материепоклонниками.

Впрочем, огонь... Он только намек. Напоминание. Поэтому мне хочется смеяться, слыша, как добрая доктор Меррих иногда рассказывает кому-то постороннему (это, наверно, какой-нибудь врач, знакомящийся с нашим образцовым заведением), что тот человек, вон тот худой, который греется на солнце, — пиропараноик. Забавное слово, не правда ли? Пиропараноик. Это означает, что моя противоречащая реальности система имеет в основании огонь. Как будто я верю в «огненную жизнь» (слова милейшей доктора Меррих). Разумеется, в этом нет ни слова правды. Огонь, на который мы любим смотреть, живой не более, чем фотографии давно умерших дорогих нам людей. Можно изучать его всю жизнь, но так ничего и не понять. Действительность, как всегда, гораздо сложнее, но и менее жестока.

Написал я уже порядочно, а рассказать почти ничего не успел. Но это главным образом оттого, что у меня много времени. Я ведь знаю — стоит мне дойти до важных вещей, стоит рассказать о них до конца, и тогда меня действительно может охватить отчаяние. До того самого момента, когда я уничтожу эти записки и смогу приняться за новые. Я не пишу каждый раз совершенно одинаково. Я не грампластинка.

Мне хотелось бы, чтобы солнце заглянуло в комнату, но в это время года его визита можно ожидать только около четырех, да и то ненадолго. Хотелось бы понаблюдать его с помощью какого-нибудь большого, хорошего инструмента, например, того, который Хэмфри Филд установил на Маунт Вилсон четыре года назад, с полным комплектом поглотителей избыточной энергии, так что можно спокойно целыми часами вглядываться в рябое лицо нашего отца. Я неверно выразился — это не отец. Отец дает жизнь, а Солнце постепенно умирает, так же как и многие миллиарды других солнц.

Наверное, уже пора открыть вам и ту правду, которую я постиг благодаря случаю и пытливости. Я был тогда физиком. Специалистом по высоким температурам. Люди этой профессии занимаются огнем так же, как могильщик человеком. Втроем — Маартенс, Ганимальди и я — мы работали на большом боулдерском плазматроне. Прежде наука находилась на гораздо более низком уровне — пробирок, реторт, штативов, — и результаты были соответственно мельче. Мы брали с промежуточной накопительной шины энергию в миллиард ватт, загоняли ее в брюхо электромагнита, одна секция которого весила семьдесят тонн, а в фокусе магнитного поля помещали большую кварцевую трубу.

Электрический разряд шел через трубу, от одного элек-

трода к другому, а его мощность была такова, что сдирала с атомов электронные оболочки и оставалась только каша из раскаленных ядер, вырожденный ядерный газ, или плазма. Если бы не магнитное поле, она взорвалась бы в одну стомиллиардную долю секунды и превратила бы нас, защиту, кварц, электромагниты с их бетонным основанием, стены здания и его сверкающий издали купол в грибовидную тучу, и все это произошло бы гораздо быстрее, чем могла бы возникнуть мысль о возможности такой катастрофы.

Поле сжимало разряд, скручивало из него что-то вроде пульсирующего огненного шнура, тонкую нить, разбрызгивающую жесткое излучение, растянутую от электрода к электроду, вибрирующую внутри заключенной в кварц пустоты. Магнитное поле не позволяло обнаженным ядерным частицам (с температурой около миллиона градусов) приблизиться к стенкам трубы, оберегая нас и наш эксперимент. Но все это, рассказанное языком возвышенной популяризации, вы найдете в какой-нибудь книге, и я неумело повторяю это только для порядка, нужно же с чего-то начать, а считать началом этой истории дверь без ручки или полотняный мешок с очень длинными рукавами все-таки трудно. Честно говоря, здесь я перехватил, потому что таких мешков, таких рубашек уже не применяют. В них нет необходимости, коль скоро открыт один сильнодействующий успокаивающий препарат. Но не будем об этом.

Итак, мы изучали плазму, занимались проблемой плазмы, как полагалось физикам: теоретически, математически, священнодействуя возвышенно и таинственно, — по крайней мере в том смысле, что презрительно отвергали все претензии наших не разбиравшихся в науке нетерпеливых финансовых опекунов, которые требовали результатов, пригодных для конкретного применения. В то время было очень модно говорить о таких результатах или по крайней мере об их вероятности. В данном случае предполагалось создать спроектированный пока только на бумаге плазменный ракетный двигатель, кроме того, был очень нужен плазменный взрыватель для водородных бомб — тех самых «чистых», и даже требовалось теоретически рассчитать водородный реактор или термоядерный элемент, работающий на базе плазменного шнура. Одним словом, будущее, если не мира, то по меньшей мере его энергетики и транспорта, все видели в плазме. Плазма, как я уже говорил, была модной, заниматься ее изучением считалось признаком хорошего тона, а мы были молоды, хотели делать то, что важнее всего и что может принести известность, славу... А впрочем, кто знает...

Сведенные к первоначальным мотивам человеческие поступки становятся набором тривиальностей; благоразумие и чувство меры, а также утонченность анализа состоят в том, чтобы поперечное сечение и фиксация производились в месте максимальной сложности, а не истоков; ведь каждый знает, как мало привлекательны истоки даже Миссисипи, и каждый может их перепрыгнуть. Отсюда и полное пренебрежение к истокам. Но, по-моему, я удалился от темы.

И мы и сотни других плазменников, проводя свои исследования, в результате которых должны были осуществиться великие планы, через некоторое время столкнулись с рядом явлений, настолько же необъяснимых, насколько и неприятных. До определенной границы — границы средних температур (средних в космическом понимании, то есть таких, какие господствуют на поверхности звезд) — плазма вела себя спокойно и солидно. Если ее опутывали надлежащими узлами типа того же магнитного поля или применяли кое-какие изошренные фокусы, основанные на индукционном принципе, она позволяла впрягать себя в работу, и ее энергию, казалось бы, можно было использовать. Но это только казалось, потому что на поддержание плазменного шнура затрачивалось больше энергии, чем он отдавал; разница шла на излучение, ну и на возрастание энтропии. Но пока баланс не имел значения, так как из теории следовало, что при более высоких температурах затраты автоматически уменьшатся. И уже возник некий реальный прототип ракетного двигателя и даже генератор чрезвычайно жесткого гамма-излучения, но одновременно множество возложенных на нее надежд плазма обманула. Небольшой плазменный двигатель работал, а аналогичные устройства, спроектированные на большую мощность, взрывались либо выходили из повиновения. Выяснилось, что плазма в некотором диапазоне термического или электродинамического возбуждения ведет себя не так, как предсказывала теория; это всех возмутило, поскольку теория с математической точки зрения была необыкновенно изящной и совершенно новой.

Такие вещи время от времени случаются, больше того, они должны случаться. Поэтому, не смущаясь непокорностью явления, многочисленные теоретики, а среди них и наша тройка, принялись за изучение плазмы там, где она была наиболее строптивой.

Плазма — это сыграло во всей истории определенную роль — выглядит довольно привлекательно. Попросту говоря, она напоминает кусочек солнца, причем взятый скорее из центральных областей, а не из прохладной атмосферы. По яркости она не уступает солнцу и даже превосходит его. Она не имеет ничего общего ни с бледно-золотым танцем той вторичной, окончательной агонии, который мы наблюдаем, когда в камине дрова соединяются с кислородом, ни с бледно-лиловым свистящим конусом сопла горелки, где фтор реагирует с кислородом, чтобы дать наивысшую, достижимую химическим способом температуру, ни, наконец, с вольтовой дугой, изогнутой между кратерами двух углей пламенем, хотя при желании и достаточном терпении исследователь может отыскать области с температурой больше трех тысяч градусов. То же относится и к температурам, какие можно получить, если вогнать что-нибудь около миллиона ампер в не слишком толстый электрический проводник, который становится при этом довольно теплым облачком, либо в результате термического эффекта ударной волны при кумулятивном взрыве — все это плазма оставляет далеко позади. В сравнении с ней подобные реакции прихо-

дится признать холодными — вернее, прохладными, и мы не думаем так только потому, что случайно возникли из веществ уже совершенно застывших, омертвевших вблизи абсолютного нуля: наше бодрое существование отделяет от него едва триста градусов абсолютной шкалы Кельвина, в то время как вверх столб этой шкалы простирается на миллиарды градусов. Так что можно без всякого преувеличения говорить о самом горячем пламени, которое мы умеем разжигать в лабораториях, как о явлениях вечного теплового безмолвия.

Первые плазменные цветки, распустившиеся в лабораториях, тоже были не слишком горячими — двести тысяч градусов считались тогда температурой, заслуживающей уважения, а миллион был невиданным достижением. Однако математика, та примитивная и приближенная математика, которая возникла из знания явлений зоны холода, сулила осуществление вложенных в плазму надежд при значительном подъеме по температурной шкале; она требовала по-настоящему высоких температур, почти звездных: я имею в виду внутренность звезд. Должно быть, это необыкновенно интересные места, хотя человек, вероятно, еще не скоро сумеет там побывать.

Итак, нужны были температуры в миллионы градусов. К ним уже начали подбираться; мы тоже работали над этим, и вот что выяснилось.

По мере роста температуры скорость изменений, безразлично каких, увеличивается; при скромных возможностях нашего глаза, маленькой жидкой капельки, связанной с другой капелькой побольше — нашим мозгом, даже пламя обычной свечи оказывается областью совершенно незаметных, из-за их скорости, процессов, что же говорить о бешеной пляске плазменного огня! Пришлось использовать другие методы: плазменные разряды фотографировались, и мы тоже занимались этим. Наконец Маартенс с помощью нескольких знакомых оптиков и инженеров-механиков смастерил великолепную кинокамеру, снимавшую миллионы кадров в секунду. Ее конструкция, очень остроумная и свидетельствующая о нашем достойном похвалы усердии, не имеет значения. В общем мы испортили километры пленки, а в результате получили несколько сотен метров, заслуживающих внимания, и прокручивали их, уменьшив скорость в тысячу, а потом и в десять тысяч раз. Мы не заметили ничего особенного, кроме того, что определенного вида вспышки, поначалу воспринимавшиеся как элементарное явление, оказались сгустками, возникающими в результате взаимного наложения множества чрезвычайно быстрых процессов, но и с ними в конце концов удалось справиться с помощью нашей примитивной математики.

Чудо свалилось на нас только тогда, когда однажды, из-за не установленного до сих пор недосмотра или какой-то случайной причины, произошел взрыв. Собственно, это был не настоящий взрыв, тогда бы мы, конечно, погибли, просто плазма в апокалиптически короткую долю секунды разорвала сжимавшее ее со всех сторон невидимое магнитное поле

и разнесла толстостенную кварцевую трубу, в которую была заключена.

Вследствие удачного стечения обстоятельств камера, снимающая эксперимент, уцелела вместе с заряженной в нее пленкой. Сам взрыв длился точно три миллионные доли секунды, а потом еще некоторое время во все стороны разлетались капли жидкого стекла и металла. То, что за эти микросекунды оказалось заснятым на пленку, я буду помнить всю жизнь.

Перед самым взрывом на почти однородном до тех пор шнуре плазменного огня появились перемычки, словно на вибрирующей струне; затем он, распавшись на цепочку круглых зерен, перестал существовать как единое целое. Каждое из зерен росло и преобразовалось, границы этих капелек атомного огня расплылись, наружу высунулись отростки, из которых возникло следующее поколение капелек, потом все капельки собрались в центре и образовали приплюснутый шар, он как будто дышал, сжимаясь и разбухая, и одновременно выбрасывал во все стороны что-то вроде огненных, дрожащих на концах щупалец, потом, на этот раз и на снятых нами кадрах, произошел мгновенный распад, исчезновение всякой организации, виден был только ливень огненных брызг, полосующих экран, и, наконец, все утонуло в полном хаосе.

Я не преувеличу, если скажу, что эту пленку мы просмотрели раз сто. Потом — признаюсь, это была моя идея — мы пригласили к нам, не в лабораторию, а домой, к Ганимальди, одного известного и весьма уважаемого биолога. Ничего предварительного не объясняя нашему почтенному гостю, ни о чем его не предупредив, мы прокрутили в его присутствии среднюю часть удивительного фильма на нормальном аппарате. Правда, мы надели на аппарат темный фильтр, и то, что на пленке было пламенем, побледнело и стало выглядеть просто как объект, снятый в сильном падающем свете.

Профессор просмотрел наш фильм и, когда зажегся свет, выразил вежливо удивление тем, что мы, физики, занимаемся такими далекими от нас делами, как жизнь инфузорий. Я спросил его, уверен ли он, что видел действительно колонию инфузорий.

Я помню его улыбку, как будто все это произошло сегодня.

— Кадры были недостаточно резкими, — объяснил он, не переставая улыбаться, — и я, конечно, понимаю, что съемку вели не специалисты, но могу вас уверить, что это не артефакт...

— Что вы подразумеваете под артефактом? — спросил я.

— *Arte factum*, то есть нечто, созданное искусственно. Еще во времена Швамма забавлялись имитацией живых форм, пуская в оливковое масло капли хлороформа: такие капли двигаются подобно амебам, ползут по дну сосуда и даже делятся при изменении осмотического давления у полюсов, но это чисто внешнее, примитивное подобие, имеющее с жизнью столько же общего, сколько имеет вы-

ставленный в витрине манекен с человеком. Ведь решающим является внутреннее строение, микроструктура. В вашем фильме видно, хотя и не четко, как происходит деление этих одноклеточных. Я не могу определить вида и не поручился бы, что это не просто клетки животной ткани, длительное время выращивавшиеся на искусственной питательной среде и обработанные гиалуронидазой, чтобы их разъединить, расклетить; во всяком случае, это клетки — они имеют хромосомный аппарат, хотя и дефектный. Может быть, среда подвергалась воздействию какого-нибудь канцерогенного вещества?..

Мы не смотрели друг на друга. Старались не отвечать на все более многочисленные вопросы профессора. Ганимальди попросил, чтобы гость еще раз просмотрел пленку, но из этого ничего не вышло, не помню уж, по какой причине, возможно, профессор спешил, а может быть, подумал, что за нашей сдержанностью кроется какая-нибудь проделка. Я действительно не помню. Во всяком случае, мы остались одни, и только тогда, когда за приглашенным авторитетом захлопнулась дверь, переглянулись в полном ошеломлении.

— Послушайте, — сказал я, прежде чем кто-нибудь успел открыть рот, — я считаю, что мы должны пригласить другого специалиста и показать ему фильм целиком. Теперь, когда мы знаем, насколько высока ставка, нам нужен настоящий специалист — именно по одноклеточным.

Маартенс предложил кандидатуру одного из своих университетских приятелей, который жил неподалеку. Но его не оказалось дома, он вернулся только через неделю и пришел к нам на тщательно подготовленный сеанс. Ганимальди не решился сказать ему правды. Он просто показал ему весь фильм целиком, кроме начала, так как картина превращения, то место, где плазменный шнур распадался на отдельные, лихорадочно дрожащие капли, могла дать слишком много пищи для размышлений. Зато на этот раз мы показали конец, последнюю фазу существования плазменной амебы, которая разлеталась словно заряд взрывчатого вещества.

Этот, второй специалист, тоже биолог, был гораздо моложе первого, поэтому он держался не так самоуверенно и, кажется, лучше относился к Маартенсу.

— Это какие-то глубоководные амебы, — сказал он. — Их разорвало внутреннее давление в момент, когда наружное начало падать. Так же, как это происходит с глубоководными рыбами. Невозможно достать их живыми со дна океана — они всегда погибают, разорванные изнутри. Но откуда у вас такая пленка? Вы что, занимались подводными съемками?

Он смотрел на нас с растущим подозрением.

— Снято не резко, правда? — заметил Маартенс.

— Да, немного есть, но все равно очень любопытно. Кроме того, процесс деления проходит как-то ненормально. Я не очень хорошо разглядел очередность фаз. Прокрутите-ка еще раз, но помедленней...

Мы пустили аппарат на предельно низкой скорости, но это не помогло — молодой биолог остался недоволен.

— Нельзя ли еще медленнее?

— Нет.

— Почему же вы не делали ускоренной съемки?

У меня было огромное желание спросить его, разве он не считает пять миллионов кадров в секунду несколько ускоренной съемкой, но я вовремя прикусил язык. В конце концов дело было нештучным.

— Да, деление идет аномально, — сказал он, посмотрев фильм третий раз. — Кроме того, создается впечатление, что все это происходило в среде более густой, чем вода... И вдобавок в большинстве клеток второго поколения проявляются усиливающиеся дефекты развития, митоз какой-то запутанный... и зачем они сливаются вместе? Очень странно... А может быть, это делалось на материале простейших в радиоактивной среде? — спросил он вдруг.

Я понял, о чем он подумал. В то время часто говорили, что захоронение радиоактивных отходов, образующихся при работе ядерных реакторов путем затопления их в герметических контейнерах на океанском дне слишком рискованный способ и может привести к заражению морской воды.

Мы уверяли его, что он ошибается, что это не имеет ничего общего с радиоактивностью, но он, нахмурившись и рассматривая нас поочередно, задавал все больше и больше вопросов, на которые никто не хотел отвечать — мы заранее так договорились. Отделаться от него было нелегко. Речь шла о слишком странных и слишком значительных вещах, чтобы можно было довериться постороннему, даже приятелю Маартенса.

— Теперь, мои дорогие, мы должны серьезно подумать, как нам быть, — сказал Маартенс, когда мы остались одни после этой второй консультации.

— Твой биолог решил, что «амеб» разорвало из-за понижения давления, а в действительности это было резкое падение напряженности магнитного поля... — сказал я Маартенсу.

Молчавший до этого момента Ганимальди, как всегда, оказался наиболее рассудительным.

— Я думаю, — сказал он, — что мы должны проводить дальнейшие исследования.

Мы отдавали себе отчет в том, на какой идем риск. Было уже известно, что плазма, относительно спокойная и позволяющая укрощать себя при температурах до миллиона градусов, где-то выше этой границы переходит в неустойчивое состояние и кончает свое эфемерное существование взрывом, вроде того, что уже произошел в нашей лаборатории. Усиление магнитного поля приводило лишь к задержке взрыва, участь которую было почти невозможно. Большинство физиков считало, что значение некоторых параметров изменяется скачкообразно и что понадобится совершенно новая теория «горячего нуклеарного газа». Впрочем, гипотез, претендующих на объяснение феномена, появилось уже достаточно много.

Во всяком случае, не стоило даже думать об использовании горячей плазмы в двигателях ракет или в реакторах. Этот путь был признан ошибочным, ведущим в тупик. Исследователи, особенно те, кто интересовался конкретными результатами, вернулись к низким температурам. Такой более или менее представлялась ситуация, когда мы приступили к дальнейшим исследованиям.

При температуре выше миллиона градусов плазма превращалась в вещество, по сравнению с которым вагон нитроглицерина казался детской погремушкой. Но эта опасность не остановила бы нас. Мы были слишком заинтригованы сенсационностью открытия и готовы на все. Но мы, конечно, понимали, сколько впереди сложнейших препятствий. Дорога, проложенная математикой в глубь пышущей жаром плазмы, исчезала где-то около полутора миллионов градусов. Дальше вычислениям верить было нельзя, из них следовала абсолютная ерунда.

Оставался, следовательно, старый метод проб и ошибок или экспериментирования вслепую, во всяком случае, на первых этапах. Но как защититься от неизбежных взрывов? Блоки железобетона, самые толстые стальные щиты, любые экраны — все это в качестве защиты от капельки разогретой до миллиона градусов материи стоило ровно столько же, сколько клочок папиросной бумаги.

— Вообразите себе, — сказал я Маартенсу и Ганимальди, — что где-то в космической пустоте, вблизи абсолютного нуля обитают существа, не похожие на нас, скажем, какие-нибудь металлические организмы, которые проводят различные эксперименты. И кроме всего прочего, им удается — сейчас неважно как, — достаточно того, что удастся, синтезировать живую белковую клетку. Одну амёбу. Что с ней произойдет? Очевидно, едва возникнув, она немедленно распадется, взорвется, а остатки ее замерзнут — ведь в пустоте закипит и мгновенно превратится в пар содержащаяся в ней вода, теплота же белкового обмена тотчас же излучится в пространство. Только снимая созданную ими клетку киноаппаратом, подобным нашему, эти экспериментаторы смогут ее увидеть на какую-нибудь долю секунды... А для того чтобы поддержать ее существование, им пришлось бы создать для нее соответствующую среду...

— Ты действительно считаешь, что наша плазма породила «живую амёбу»? — спросил Ганимальди. — Что такое жизнь, созданная из огня?

— Что такое жизнь? — повторил я, почти как Понтий Пилат, когда он спрашивал «что такое правда?». — Я ничего не утверждаю. Одно, во всяком случае, неоспоримо: космическая пустота и космический холод гораздо более подходящие условия для существования амёбы, чем земные условия для существования плазмы. Есть только одна среда, где при температуре выше миллиона градусов она не погибла бы...

— Понимаю. Звезда. Внутри звезды, — сказал Ганимальди. — Ты хочешь создать ее в лаборатории, вокруг

трубки с плазмой? Конечно, нет ничего проще... Но для этого нам пришлось бы зажечь весь водород океанов...

— Это не обязательно. Попробуем сделать как-нибудь по-другому.

— Можно поступить иначе, — заметил Маартенс. — Взорвать заряд и в область взрыва ввести плазму...

— Это невозможно, ты сам об этом знаешь. Во-первых, никто не позволит тебе осуществить водородный взрыв, а если бы даже позволили, все равно нет никакого способа ввести плазму в очаг взрыва. Впрочем, эта область существует лишь до тех пор, пока извне вводятся свежие порции трития.

После этого разговора мы разошлись в отвратительном настроении, казалось, что дело обстоит безнадежно. Но потом снова начались бесконечные дискуссии, и, наконец, мы нашли кое-какие возможности, которые давали определенные шансы на успех, во всяком случае, какой-то неясный намек на него. Нам нужно было магнитное поле необыкновенно большой напряженности и звездная температура. Так мы надеялись получить «питательную среду» плазмы. Ее «естественную» среду. Мы решили осуществить эксперимент в поле обычной напряженности и увеличить ее мгновенным скачком десятикратно. Из расчетов следовало, что аппаратура, наше магнитное восьмисоттонное чудовище, разлетится, а уж обмотка-то перегорит в любом случае, но до этого в момент короткого замыкания мы получим нужное поле на две, а может, и на три стотысячные секунды. Учитывая скорость происходящих в плазме процессов, это был достаточно длительный отрезок времени. Весь проект имел явно криминальный характер, и, конечно, нам бы никто не позволил его реализовать. Но это нас мало беспокоило. Для нас имела значение только регистрация явлений, которые произойдут в момент замыкания и последующей детонации.

Если бы мы разрушили аппаратуру и не получили ни метра пленки, ни одного кадра, наши действия были бы простым актом уничтожения. К счастью, здание лаборатории находилось в полутора десятках миль от города, среди отлогих, поросших травой холмов. На вершине одного из них мы оборудовали себе наблюдательный пункт с кинокамерой, телеобъективами и всякими электронными игрушками, защищенный плитой очень прозрачного бронестекла. Потом мы сняли несколько пробных кадров, используя все более мощные телеобъективы, пока, наконец, не остановились на таком, который давал восьмидесятикратное приближение. Он имел очень маленькую светосилу, но поскольку плазма пылает ярче солнца, это было несущественно. В те дни мы работали скорее как заговорщики, чем как ученые. Мы пользовались тем, что были каникулы и никто, кроме нас, не появлялся в лаборатории. В нашем распоряжении оставалось около двух недель. За это время мы должны были успеть все. Мы понимали, что не обойдется без шума, а скорее всего без крупных неприятностей, придется же как-то объяснить катастрофу — мы даже придумали

несколько вариантов довольно солидно звучащих оправданий для подтверждения нашей мнимой невинности. Мы не знали, даст ли этот сумасшедший проект вообще какие-нибудь результаты, ясно было только, что вся лаборатория после взрыва перестанет существовать. Рассчитывать мы могли только на нее. Мы вынули рамы из той стены здания, которая смотрела на вершину холма; предстояло еще демонтировать и вынести наружу защитные экраны из зала электромагнита, так, чтобы источник плазмы хорошо просматривался с нашего наблюдательного пункта.

Мы сделали это 6 августа в семь двадцать утра, под безоблачным, залитым солнцем, знойным небом. В склоне холма, у самой вершины был выкопан глубокий овраг, из которого Маартенс с помощью маленького переносного пульта и кабелей, тянувшихся к зданию, управлял процессами, происходящими в лаборатории. Ганимальди занимался кинокамерой, а я стоял рядом с ним и, высунув голову над бруствером, сквозь бронестекло разглядывал в установленную на треноге стереотрубу темный квадрат вытаращившегося окна, ожидая того, что должно было произойти там, внутри.

— Минус двадцать один... минус двадцать... минус девятнадцать... — повторял монотонным голосом сидящий за моей спиной над путаницей кабелей и переключателей Маартенс.

Поле зрения стереотрубы заливала абсолютная чернота, в центре которой дрожала и лениво изгибалась ргунтая жилка разогревающейся плазмы. Я не видел ни залитых солнцем холмов, ни травы, усыпанной белыми и желтыми цветами, ни августовского неба над куполом здания: стекла были тщательно зачернены. Когда плазменная жилка начала распухать в середине, я испугался, что она разорвет трубу раньше, чем Маартенс скачком усилит напряженность поля. Я уже открыл рот, чтобы крикнуть, но в этот самый момент Маартенс произнес:

— Нуль!

Нет, земля не всколыхнулась, мы не услышали грохота, только тьма, в которую я всматривался, непроглядная черная ночь посерела. Отверстие в стене лаборатории затянуло оранжевый туман, оно превратилось в квадратное солнце, в самом центре что-то ослепительно сверкнуло, потом все поглотил огненный вихрь; отверстие в стене увеличилось, выстрелило ветвистыми линиями трещин, плюющихся дымом и огнем, и с протяжным громом, залившим всю округу, купол осел в падающие стены. Больше в стереотрубу ничего нельзя было разглядеть, я отвел глаза от окуляров и увидел бьющий в небо столб дыма. Ганимальди что-то кричал, быстро шевеля губами, но гром еще гремел, перекатывался над нами, и я ничего не слышал, словно уши мои были заткнуты ватой. Маартенс вскочил с колен и втиснулся между нами, чтобы взглянуть вниз, — до сих пор он был занят за пультом. Грохот стих. И тут мы закричали, кажется, все сразу.

Туча, отброшенная силой взрыва, поднималась уже вы-

соко над развалинами, которые все медленнее рушились в облаке известковой пыли. Из клубов пыли вынырнуло ослепляющее продолговатое пламя, окруженное лучистым ореолом, — я бы сказал, второе солнце, но приплюснутое и удлиненное, похожее на червяка. С секунду червяк висел почти неподвижно над дымящимися руинами, сжимаясь и растягиваясь, потом спустился к земле. У меня в глазах уже плавали черные и красные круги, это пламя или это существо пылало, как солнце, но когда червяк опускался, я еще успел заметить, как, дымясь, мгновенно исчезает высокая трава на его пути, а он двигался к нам не то ползком, не то подпрыгивая, причем окружающий его ореол увеличивался, и он постепенно становился ядром огненного пузыря. Сквозь бронестекло рвался опаляющий жар, огненный червь исчез из глаз, но по дрожанию воздуха над склоном, по клубам пара и снопам трескучих искр, в которых превращались кусты, мы поняли, что он движется к вершине холма. Отталкивая друг друга во внезапном приступе паники, мы бросились бежать. Я мчался, чувствуя, как мои плечи, шею, спину обжигает невидимый огонь, казалось, он гнался за мной. Я не видел ни Маартенса, ни Ганимальди; я вслепую летел вперед, наконец, споткнулся о подвернувшийся бугорок и рухнул на дно какой-то ямы в еще мокрую от ночной росы траву. Задыхаясь, я изо всех сил жмурил веки и уткнулся лицом в траву, но, несмотря на это, передо мной вдруг вспыхнул яркий красноватый свет, как бывает, если солнце светит прямо в закрытые глаза. Но, честно говоря, я не совсем в этом уверен.

Тут в моей памяти появляется провал. Понятия не имею, долго ли я так провалился. Я очнулся с таким ощущением, как будто просто спал. Я по-прежнему лежал, уткнувшись лицом в высокую траву. Когда я пошевелился, шею и плечи пронзила страшная боль; довольно долго я не осмеливался даже поднять голову. Наконец я заставил себя сделать это. Я находился на дне котловины, окруженной низкими буграми; вокруг мягко волновалась под ветром трава, на ней поблескивали последние капли росы, быстро испарявшиеся на солнце. Его тепло досаждало мне, я понял это, лишь осторожно коснувшись шеи и почувствовав под пальцами большие пузыри от ожогов. Тогда я встал и, оглядевшись, отыскал холм, на котором находился наш наблюдательный пункт. Довольно долго я не мог решиться, я боялся идти туда. Перед глазами у меня все еще стояли кошмарные судороги этого солнечного червя.

— Маартенс! — крикнул я. — Ганимальди!!!

Машинально я взглянул на часы: было пять минут девятого. Я приложил часы к уху — они шли. Взрыв произошел в семь двадцать, все остальное длилось, может быть, с полминуты; почти три четверти часа я лежал без сознания.

Я пошел вверх по склону. В каких-нибудь тридцати метрах от вершины холма я наткнулся на первые проплешины выгоревшей земли. Они были покрыты синеватым, уже почти остывшим пеплом, совсем как след разведенного кем-то костра, но это был очень странный двигающийся костер.

От этого обгоревшего места тянулась волнистая полоса выжженной земли шириной метра в полтора, по обе стороны от нее трава обуглилась, а дальше только пожелтела и увяла. Эта полоса кончалась за следующим кольцом спальной земли. Рядом лицом вниз, подтянув одно колено почти под самую грудь, лежал человек. Еще не притронувшись к нему, я знал, что он мертв. Казавшаяся целой одежда стала серебристо-серой; его шея была того же невероятного цвета, и, когда я наклонился над ним, он начал рассыпаться от моего дыхания.

Я отскочил, вскрикнув от ужаса, но передо мной была уже искореженная пепельно-черная фигура, лишь отдаленно напоминающая человеческое тело. Я не знал, Маартенс это или Ганимальди, и у меня не хватало смелости дотронуться до него, я догадывался, что у него уже нет лица. Я бросился большими скачками на вершину, но уже не звал друзей. Снова наткнулся на огненный след, извилистую обуглившуюся черную тропку, местами расширяющуюся до нескольких метров.

Я приготовился увидеть второй труп, но не нашел его. Спустился с вершины туда, где был наш окоп; от бронестекла осталась растекшаяся по склону тонкая пленка, похожая на застывшую лужицу. Все остальное — приборы, кинокамеры, пульт, оптика — перестало существовать, а сам окоп развалился, как будто сверху его придавило что-то очень тяжелое, и только кусочки расплавленного металла поблескивали среди камней. Я посмотрел в сторону лаборатории. Она выглядела словно после взрыва мощной авиабомбы. Между обломками стен плясали едва заметные на солнце языки догорающего пожара. Я почти не видел всего этого, стараясь припомнить, в какую сторону побежали мои товарищи, когда мы все вместе выскочили из окопа. Маартенс был слева от меня, значит это, вероятно, его тело я нашел, а Ганимальди?..

Я начал искать его следы — напрасно, за пределами выгоревшей площадки трава уже поднялась. Я метался по холму, пока, наконец, не наткнулся на другую выжженную полосу, начал спускаться по ней, как по тропинке, под ногами поскрипывал пепел... и замер. Пепелище расширялось; мертвая трава окружала неправильной формы площадку размером не больше двух метров. С одной стороны площадка была узкой, с другой — раздваивалась... Она напоминала деформированный расплющенный крест, покрытый довольно толстым слоем черноватого пепла, словно тут долго горела упавшая навзничь деревянная фигура с раскинутыми руками... Но, возможно, это мне только почудилось. Не знаю.

Уже некоторое время мне казалось, что я слышу далекий протяжный вой, но я не обращал на это внимания. Потом донеслись человеческие голоса, но и они меня не интересовали. Вдруг я увидел маленькие фигурки людей, бегущих ко мне; в первый момент я припал к земле, как будто хотел спрятаться, даже отполз от пепелища и прыгнул в сторону. Когда я бежал по другому склону, люди снова вне-

запно появились, они обходили меня с двух сторон. Я почувствовал, что ноги отказываются слушаться, впрочем, мне было все равно.

Я, собственно, не знал, зачем убегаю, если это было бегство. Я сел на траву, а они окружили меня, один наклонился надо мной, что-то говорил, я сказал, чтобы он отвязался от меня, что нужно искать Ганимальди, что со мной ничего не случилось. Они хотели меня поднять, я начал отбиваться, тогда кто-то схватил меня за плечо. Я вскрикнул от боли. Потом почувствовал укол и потерял сознание. Очнулся я в больнице.

Я все отлично помнил. Только не знал, сколько времени прошло с момента катастрофы. Я был забинтован с головой, ожоги давали о себе знать болью, усиливающейся при каждом движении, и я старался лежать как можно спокойнее. Впрочем, все эти мои больничные переживания, трансплантации кожи, которые мне делали целый месяц, не имеют значения, так же как и то, что произошло потом. Да ничего другого и не могло произойти. Лишь через много недель я прочитал в газетах официальную версию катастрофы. Объяснение нашлось простое, собственно говоря, оно само напрашивалось. Лабораторию разрушил взрыв плазмы; трое людей, охваченные огнем, пытались спастись; один из них, Ганимальди, погиб в здании, под обломками, Маартенс умер, добежав до вершины холма в пылающей одежде, а я вышел из катастрофы обожженный, в состоянии тяжелого шока. На выгоревшие полосы травы вообще не обратили внимания, так как прежде всего занимались развалинами лаборатории. Правда, кто-то утверждал, что трава загорелась от пылающего Маартенса, который катался по ней, пытаясь сбить огонь. И так далее.

Я считал своим долгом рассказать правду, не считаясь с последствиями, теперь уже хотя бы из-за Маартенса и Ганимальди. Мне очень осторожно дали понять, что моя версия событий является результатом шока, так называемой остаточной галлюцинацией. Я еще был немногим не в себе: начал бурно протестовать — мое возбуждение сочли симптомом, подтверждающим диагноз. Примерно неделю спустя со мной беседовали снова.

На этот раз я старался говорить как можно спокойнее, рассказал о нашем первом фильме, который находился в квартире Маартенса; однако поиски не дали результата. Я догадался, что Маартенс сделал то, о чем как-то мимоходом упоминал, — спрятал пленку в банковский сейф. Все, что было при нем, погибло, естественно, та же участь постигла ключ от сейфа и квитанцию. Эта пленка до сегодняшнего дня так и лежит в каком-нибудь банке. Итак, я проиграл и здесь: но не уступал, и благодаря моим настойчивым требованиям был произведен осмотр места происшествия. Я обещал там доказать свои слова, а врачи надеялись, что, когда я окажусь там, возможно, у меня восстановится память о «действительных» событиях. Я хотел показать им кабели, протянутые нами на вершину холма, в окоп. Но и кабелей не было. Раз их нет, доказывал

я, значит, их убрали позднее, может быть, команды, борющиеся с пожаром. Мне сказали, что я ошибаюсь — никто не убирал никаких кабелей, так как они вообще существовали только в моем воображении.

Только тогда, там, среди холмов, под голубым небом, рядом с почерневшими и словно уменьшившимися развалинами лаборатории я понял, почему все так произошло. Огненный червь не убил нас. Не хотел нас убить. Он ничего о нас не знал, мы его не интересовали. Созданный взрывом, выползший из него, он выхватил из окружающей среды ритм сигналов, все еще пульсировавших в кабелях, так как Маартенс не выключил управляющего устройства. Это к их источнику, к источнику электрических импульсов поползло огненное создание, не какое-то разумное существо, а солнечный червь, цилиндрический сгусток организованного огня, которому оставалось жить всего несколько десятков секунд. Об этом свидетельствовал его растущий ореол; дающая ему возможность существовать температура падала, каждое мгновение ему приходилось терять огромное количество энергии, он излучал ее, и ниоткуда не мог ее черпать, поэтому он спазматически извивался вдоль кабелей, несущих электричество, одновременно превращая их в пар, в газ. Маартенс и Ганимальди оказались на его пути случайно, впрочем, он, наверное, не приближался к ним. Они убежали; Маартенс в нескольких десятках шагов от вершины настиг термический удар; Ганимальди, возможно совершенно ослепленный, перестал ориентироваться и попал прямо в бездну пылающей агонии.

Да, огненное существо умирало там, на вершине холма, бессмысленно корчась в траве, в судорожных и напрасных поисках источника энергии, которая вытекала из него, словно кровь из жил. Он убил их обоих, даже не зная об этом. И трава уже скрыла сожженную землю.

Когда мы приехали туда с двумя врачами, каким-то посторонним человеком, кажется из полиции, и профессором Гилшем, уже невозможно было найти следов, хотя с момента катастрофы прошло едва три месяца. Все заросло травой, и то место, похожее на тень распятого человека, тоже. Там поднялась особенно густая трава. Все как будто сговорилось против меня. Окоп, правда, остался, но кто-то сделал из него свалку. На дне валялись только куски ржавого железа и пустые консервные банки. Я доказывал, что под ними должны быть остатки расплавленного бронестекла. Мы порылись в этих отбросах, но стекла не обнаружили. Вернее, мы нашли несколько осколков, и даже оплавленных, но мои спутники решили, что это остатки обычных бутылок, которые кто-то разбил и расплавил в печи центрального отопления, чтобы они занимали поменьше места в мусорном баке. Я попросил сделать анализ стекла, но на это никто не согласился. У меня остался только один козырь — молодой биолог и профессор, ведь они оба видели наш фильм. Профессор находился в Японии и должен был вернуться только весной, а приятель Маартенса признал, что мы действительно показывали ему такой фильм, но это

были съемки глубоководных амёб, а не ядерной плазмы. Он уверял, что Маартенс при нем категорически отказывался от любой другой версии.

И это было правдой, Маартенс говорил так — мы же хотели сохранить все в тайне. На том дело и кончилось.

А что случилось с солнечным червем? Может, он взорвался, когда я лежал без сознания, а может, кончил свое мимолетное существование тихо; и то и другое одинаково правдоподобно.

С этим меня бы, наверное, и отпустили, как не представляющего опасности для окружающих, но я оказался упрямым. Катастрофа, поглотившая Маартенса и Ганимальди, обзывала меня. Постепенно я выздоравливал. Все время я проводил за чтением книг, которые мне безотказно доставляли по моему требованию. Я изучил всю литературу о Солнце, узнал все, что было известно о солнечных протуберанцах и шаровых молниях. Огненный червь имел что-то общее с такими молниями, на эту мысль меня натолкнуло некоторое сходство в их поведении. Шаровые молнии, явления до сих пор не объясненные и загадочные для физиков, возникают в условиях мощных электрических разрядов во время грозы. Эти образования, напоминающие раскаленные шары или жемчужины, свободно плавают в воздухе, иногда подчиняясь его течениям, потокам, ветрам, иногда двигаясь против течения; их притягивают металлические предметы и электромагнитные волны, особенно очень короткие, — их тянет туда, где воздух ионизирован. Охотнее всего они висят около проводов, несущих электричество. Они как бы стараются выпить его. Однако это им не удается. Зато весьма вероятно — во всяком случае по утверждению некоторых специалистов, — что они «питаются» дециметровыми волнами через каналы ионизированного воздуха, созданные породившими их молниями.

Но и в этом случае утечка энергии превышает поглощения, и поэтому существование шаровых молний длится едва десятки секунд. Некоторое время они нерешительно кружатся, излучая голубовато-желтое сияние, а потом либо внезапно взрываются, либо растворяются и гаснут почти беззвучно. Конечно, это не живые существа; с жизнью у них ровно столько же общего, сколько у тех капель хлороформа, накопанных в масло, о которых рассказывал нам профессор.

Ну, а огненный червь, созданный нами, был живым? Тому, кто задаст мне такой вопрос не для того, чтобы подразнить сумасшедшего, — а я вовсе не сумасшедший, — я отвечу вежливо: не знаю. Но сама неуверенность, само это незнание скрывает в себе возможность переворота нашего познания, которая никому не мерещилась даже в бреду.

Существует, говорят мне, лишь один вид жизни, известная нам белковая жизнь, разделенная на царства растений и животных. При температурах, отдаленных на каких-нибудь триста шажков от абсолютного нуля, возникает эволюция и ее венец — человек. Только он и ему подобные

могут противостоять господствующей во всей вселенной тенденции возрастания хаоса. Да, согласно этому мнению все является хаосом и беспорядком — страшный жар внутри звезд, огненные стены раскаляющихся от взаимного проникновения галактик, газовые шары солнц: ведь никакая система — говорят эти трезвые, разумные, а поэтому несомненно правые люди, — ни один вид организации, даже намеки на нее не может возникнуть в океанах кипящего огня. Солнца — это слепые вулканы, извергающие планеты, которые исключительно редко создают иногда человека, все остальное — это мертвая ярость выродившихся ядерных газов, муравейник потрясенных протуберанцами апокалиптических огней.

Я улыбаюсь, слушая эту автоапологетическую лекцию, результат ослепляющей мегаломании. Существует, говорю я, два уровня Жизни. Одна могучая и огромная охватила весь видимый космос. То, что нас пугает и угрожает нам уничтожением, — звездная жара, гигантские поля магнитных потенциалов, чудовищные извержения пламени, — для этой формы жизни всего лишь комплекс дружелюбных и благоприятных, более того — необходимых условий.

Хаос — говорите вы? Водоворот мирового огня. Почему же такое просто неисчислимо множество регулярных, хотя и необъяснимых, явлений демонстрирует наблюдаемая астрономами поверхность Солнца? Почему магнитные вихри так поразительно правильны? Почему существуют ритмичные циклы активности звезды, точно так же, как существуют циклы обмена веществ у каждого живого организма? Человек знает суточный и месячный ритмы, кроме того, на протяжении жизни в нем борются противостоящие силы роста и умирания. Солнце имеет одиннадцатилетний цикл, каждые четверть миллиарда лет переживает «депрессию», свой климактерий, вызывающий земные ледниковые периоды. Человек рождается, стареет и умирает, так же как звезда.

Вы слушаете, но не верите. И вам хочется смеяться. Вы испытываете желание спросить меня, теперь уже только в насмешку, верю ли я в разум звезд. Думаю ли, что они мыслят. И этого я не знаю. Но стоит ли так беспечно осуждать мое сумасшествие, лучше приглядитесь к протуберанцам. Попробуйте один раз просмотреть фильм, снятый во время солнечного затмения, когда выныривают эти огненные черви и разбегаются на сотни тысяч, на миллионы километров от своей колыбели, чтобы в странных и непонятных эволюциях, растягиваясь и извиваясь, образуя все новые формы, наконец, развеяться и исчезнуть в пространстве или вернуться в раскаленный океан, породивший их. Я не утверждаю, что это пальцы Солнца. С тем же успехом они могли бы быть его паразитами.

Пусть будет так — скажете вы для пользы дискуссии, не желая слишком быстро прерывать этот оригинальный, хотя и слишком абсурдный, а потому рискованный разговор, — мы хотим узнать еще кое-что. Почему же мы не пробуем найти общий язык с Солнцем? Мы ведь бомбар-

дируем его радиоволнами. Может, оно ответит?.. А если нет, твой тезис несостоятелен...

Любопытно, о чем бы мы могли говорить с Солнцем? Какие существуют общие для него и для нас проблемы, понятия, вопросы? Вспомните, что показал наш первый фильм. Огненная амеба в миллионную долю секунды превратилась в два следующих поколения. Разница темпа также имеет определенное значение. Сначала найдите общий язык с бактериями ваших тел, с кустами ваших садов, с пчелами и их цветами, а тогда можно подумать о методах информационного контакта с Солнцем.

— Если так, — скажут наиболее добродушные из скептиков, — все это оказывается только... несколько оригинальной точкой зрения. Твои взгляды никак не изменяют существующего мира ни теперь, ни в будущем. Вопрос, является ли звезда существом, «живет» ли она, становится делом договоренности, согласием на принятие такого термина, и ничем больше. Словом, ты рассказал нам сказку...

— Нет, — отвечаю я вам. — Вы ошибаетесь. Вы считаете, что Земля — это капелька жизни в океане небытия. Что человек одинок и звезды, туманности, галактики — его противники, враги. Что можно добыть только то знание, которым обладает и еще будет обладать он, творец Порядка, подвергающегося непрерывной опасности среди половодья бесконечности, усеянного далекими сверкающими точками. Но это не так. Иерархия активного существования всеобъемлюща. Кто хочет, может назвать ее жизнью. На вершинах ее, на высотах энергетического возбуждения существуют огненные организмы. У самого края, вблизи абсолютного нуля, в стране гьмы и последнего остывающего дыхания, жизнь появилась еще раз как слабый отсвет той, как ее бледное догорающее напоминание — это мы. Примите эту точку зрения, научитесь смирению и одновременно надежде, что когда-нибудь Солнце станет Новой и примет нас в милостивые объятия пожара, и тогда, вернувшись в вечный круговорот жизни, став частичкой ее величия, мы получим знание более глубокое, чем то, которое может быть уделом обитателей зоны оледенения. Вы не верите мне. Я знал это. Теперь я собираю эти исписанные странички, чтобы уничтожить их, но завтра или послезавтра снова сяду за пустой стол и начну писать правду.

**Авторизованный перевод
с польского Дм. БРУСКИНА**